

«ПРЕОДОЛЕНИЕ САМООЧЕВИДНОСТЕЙ» ЛЬВА ШЕСТОВА И ПОДПОЛЬНЫЕ ПАРАДОКСАЛИСТЫ ДОСТОЕВСКОГО

Мировую известность русскому философу–экзистенциалисту Льву Шестову (Л.И.Шварцман, 1865–1938) принесли книги, написанные в эмиграции, особенно: «На весах Иова (Странствование по душам)» (Париж, 1929), «Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне)» (Париж, 1939), «Афины и Иерусалим». Опыт религиозной философии» (Париж, 1964), «Умозрение и Откровение» (Париж, 1964). Интерес к сочинениям Шестова в 1920–1930-е гг. был весьма велик как в Европе, так и в Китае и Японии. Закономерно, что тогда появились переводы не только новых, но и старых, написанных еще до революции, книг и статей на французский, немецкий, китайский, японский языки. Впрочем, его литературные и философские работы дореволюционного и эмигрантского периодов тесно связаны, спаяны, вплоть до неизменного цитирования одних и тех же излюбленных мест из произведений Белинского, Достоевского, Паскаля, Спинозы, Бодлера, Ницше.

В жизни Шестова был только один мощный духовный переворот — всеобъемлющий кризис, пережитый им в 1895 г. Об этой тотальной внутренней катастрофе Шестов в работах молчит, даже в дневниковых записях о ней пишет глухо и туманно; сохранилась в «Дневнике мыслей» такая запись от 11 июня 1920 г.: «В этом году исполняется двадцатипятилетие, как „распалась связь времен“, или, вернее, исполнится — ранней осенью, в начале сентября. Записываю, чтобы не забыть: самые крупные события жизни — о них же никто, кроме тебя, ничего не знает — легко забываются»¹. Хотя в творчестве Шестова последствия духовного переворота (или кризиса) сказались далеко не сразу, сам философ и его ближайшее окружение приурочивают «перерождение убеждений» (или, переходя на поэтический язык философа, — явление ему Ангела смерти) к этому году. Тогда-то, оторвавшись от «всемства», Шестов и примкнул к секте «проклятых», «отверженных», «подземных» и «подпольных» мыслителей.

Тогда же и началась с годами все нараставшая, облакавшаяся все в более и более радикальные формы борьба против Аристотеля, Канта, Гегеля (не говоря уже о Конте, Милле, Ренане, Спенсере и других позитивистах),

¹ Баранова–Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. По переписке и воспоминаниям современников. Paris, 1983. Т. 1. С. 23.

против «стены», «естественной связи явлений», «законов», «логики», «категорического императива», культа Разума. Философии обыденности («нормальной») Шестов противопоставляет философию трагедии, всевозможным системам — хаос, разуму — веру, логическим доводам и рассуждениям — Откровение. Эта позиция была определенно заявлена в таких ранних книгах Шестова, как «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше (Философия и проповедь)» (1900) и «Достоевский и Нитше (Философия трагедии)» (1903). Уже на рубеже веков Шестову открылись тщета и недостаточность, фальшивость всевозможных философских научных систем и философий религии. С вызовом, надрывом, душевной болью он писал о наступившей эпохе всеобщего кризиса, крушения идеалов и иллюзий, — кризиса, обнажившего извечную трагическую сущность человеческого бытия: «Идеалы о курице к воскресному обеду и всеобщем счастье выдумывались всегда учителями, учеными людьми. Оттого, вероятно, они никогда и не будут осуществлены, хотя оптимисты и полагают, что их царство близко. Уже то обстоятельство, что стали возможны *учителя* вроде Достоевского и Нитше, проповедующие любовь к страданию и возвещающие, что лучшие из людей должны погибнуть, ибо им будет все хуже и хуже, показывает, что розовые надежды позитивистов, материалистов и идеалистов были только детскими грезами. Трагедии из жизни не изгонят никакие общественные переустройства и, по-видимому, настало время не отрицать страдания, как некую фиктивную действительность, от которой можно, как крестом от черта, избавиться магическим словом „се не должно быть“, а принять их, признать и, быть может, наконец, понять. Наука наша до сих пор умела только отворачиваться от всего страшного в жизни, будто бы оно не существовало, и противопоставлять ему идеалы, как будто бы идеалы и есть настоящая реальность. Для „интеллигенции“ наступило трудное время. Прежде она плакала над страдающим народом, взывала к справедливости, требовала иных порядков и, кстати, не имея на это никаких прав, обещала иные порядки и радовалась своей готовности и своему искусству притворяться и лгать, видя в этом свое исключительное нравственное качество. Теперь к ней предъявлено новое требование. Не наукой, конечно, — наука ведь создавалась учеными и требовала лишь того, что ученым легче всего было исполнить. Теперь жизнь явилась к нам с своими требованиями. Она об идеалах и не вспоминает. С загадочной суровостью она своим немым языком говорит нам нечто такое, чего мы никогда не слышали, чего мы и не подозревали. Нитше и Достоевский только истолковывают ее непонятный язык, когда говорят, что нам будет все хуже и хуже. Наши расчеты не оправдались. Не у поселян будет к воскресному обеду курица, а у нас отнимутся все и материальные, и духовные блага, которыми нас дарила наука»².

Вчитываясь в эти слова, приходишь к единственно возможному и неутешительному выводу: «второе зрение» не обмануло философа. Выброшенный

² Шестов, Лев. Избранные сочинения. М., 1993. С. 323–324.

в 1920-е гг., как и многие другие деятели науки и культуры, из России, Шестов стал свидетелем исторических событий, не только питавших философию трагедии, но и далеко превзошедших самые пессимистические предвидения и предощущения. От политики Шестов почти всегда держался в стороне, недоверчиво относясь ко всем видам общественной деятельности. Его философия — это философия «частного», «уединенного», «подпольного» мыслителя, выбитого из «нормальной» колеи жизни, которая становилась сама все более безумной и абсурдной. Понятно, что у Шестова не возникало ни малейших поползновений отказаться от философии трагедии, столь эмоционально изложенной в дореволюционных произведениях. Подчеркивая поразительное единство философских и литературных работ Шестова всех периодов творчества, Бердяев писал в некрологе: «Для Льва Шестова человеческая трагедия, ужасы и страдания человеческой жизни, переживание безнадежности были источником философии»³. О постоянстве основных мотивов, даже утомительном однообразии творчества Шестова писал С. Л. Франк и многие другие современники философа. В частности, А. Камю в «Мифе о Сизифе»: «...Шестов на всем протяжении своего изумительно монотонного труда, неотрывно обращенного к одним и тем же истинам, без конца доказывает, что даже самая замкнутая система, самый универсальный рационализм всегда спотыкаются об иррациональность человеческого мышления. От него не ускользают все те иронические очевидности и ничтожнейшие противоречия, которые обесценивают разум. И в истории человеческого сердца, и в истории духа его интересует один-единственный, исключительный предмет. В опыте приговоренного к смерти Достоевского, в ожесточенных авантюрах ницшеанства, проклятиях Гамлета или горьком аристократизме Ибсена он выслеживает, высвечивает и возвеличивает бунт человека против неизбежности. Он отказывает разуму в основаниях, он не сдвинется с места, пока не окажется посреди блеклой пустыни с окаменевшими достоверностями»⁴.

И все-таки, не меняясь в главном, в методе и подходах, ведя постоянную и яростную борьбу с культом Разума, Шестов, «преодолевая самоочевидности», упорно искал дорогу в обетованную страну, повинаясь некоей высшей воле (подобно ветхозаветному Аврааму; философ часто цитировал, а то и выносил в эпиграф слова из «Послания к Евреям»: «Авраам повиновался призыванию идти в страну, которую имел получить в наследие; и пошел, не зная, куда идет», веруя, что только такой путь и есть единственно истинный, ибо «в обетованную землю приходит лишь тот, кто не знает, куда идет»⁵. Парадоксы парадоксами (а произведения Шестова насквозь и воинственно парадоксальны), но направление движения мысли философа очевидно, и оно в самом общем виде, но точно определено Бердяевым: «Он шел от Нитше к Библии. И он все более и более обращался к библей-

³ Бердяев, Николай. Собр. соч. Т. 3: Типы религиозной мысли в России. Paris, 1989. С. 407.

⁴ Камю А. Бунтующий человек: Философия; Политика; Искусство. М., 1990. С. 36–37.

⁵ Шестов Л. Умозрение и Откровение. Париж, 1964. С. 91.

скому откровению. Конфликт библейского откровения и греческой философии стал основной темой его размышлений»⁶.

Огромную роль в «странствованиях по душам» Шестова сыграло состоявшееся уже в эмиграции знакомство с произведениями «частного» датского мыслителя Серена Кьеркегора. В них он нашел то, что лишь брезжило в виде отдельных гениальных догадок в книгах Ницше. Не только то, что было созвучно его бунту против «всемства», где он выступает своеобразным преемником Достоевского⁷, но нечто большее — *profession de foi*. «Вера, только вера, освобождает от греха человека. Вера, только вера, может вырвать человека из власти необходимых истин, которые овладели его сознанием, после того как он отведал плодов с запретного дерева. И только вера дает человеку мужество и силы, чтоб глядеть прямо в глаза безумию и смерти и не склоняться безвольно пред ними... Вера не есть доверие к тому, что нам внушают родители, старшие, наставники, вера есть огромная, рождающаяся в глубинах человеческого духа сила, готовая и способная вступить в борьбу, даже тогда, когда все говорит нам, что борьба заранее обречена на неудачу», — с упоением и восторгом декламирует Шестов в статье «Киркегард — религиозный философ»⁸.

Под мощным влиянием Кьеркегора воззрения Шестова обретают черты религиозного экзистенциализма: еще радикальней становится оппозиция разуму, доходящая до ненависти⁹, неотделимая от веры, рожденной отчаянием. «Вера есть безумная борьба о невозможном», — любил повторять вслед за Кьеркегором Шестов. Он органично усвоил аргументацию и эмоциональный вызов, присутствующие в трактате «Повторение» и других сочинениях датского писателя: «Противопоставление Иова — Гегелю и Платону, т. е. всей древней и новой философии, — это величайший вызов всей нашей культуре, но в этом заветная мысль Киркегарда, проходящая

⁶ Бердяев, Николай. Собр. соч. Т. 3. С. 407.

⁷ В книге «Афины и Иерусалим» Шестов писал о духовном родстве Кьеркегора и Достоевского: «Киркегарда можно назвать без преувеличения духовным двойником Достоевского. Если в своих предыдущих работах, говоря о Достоевском, я не называл Киркегарда, то только потому, что не знал его: я познакомился с его сочинениями только в самые последние годы» (Шестов Л. Сочинения. М., 1993. Т. 1. С. 570). Этот тезис с сильным «подпольным» акцентом усиленно внедряется и в дальнейшем: «там, где рациональная философия с ее дважды два четыре, с ее каменными стенами и прочными вечными истинами находит источник мира, спокойствия и даже мистического удовлетворения (вечные истины не только принуждают, но убеждают нас, как говорит Лейбниц), там он увидел начало смерти. Для Киркегарда, двойника Достоевского, умозрительная философия есть мерзость запустения — и именно потому, что она посягает на всемогущество Божие» (Там же. С. 605).

⁸ Шестов Л. Умозрение и Откровение. С. 250–251.

⁹ Платон — а за ним Кант, Гегель и вообще подавляющее большинство мыслителей — был убежден, что «нет большего несчастья для человека, как сделаться мисологом». Кьеркегор и значительно ранее его, но не столь последовательно, Паскаль — придерживался, чем и восторгается Шестов, абсолютно противоположного мнения: «Если бы нужно было в нескольких словах формулировать самые заветные мысли Киркегарда, пришлось бы сказать: самое большое несчастье человека это безусловное доверие к разуму и разумному мышлению, начало же философии есть не удивление, как полагали древние, а отчаяние» (Там же. С. 238–239).

через все его произведения»¹⁰. Вне всякого сомнения, это заветная мысль и самого Шестова, который, отталкиваясь от «непрямых высказываний» Кьеркегора¹¹, многократно повторяясь, пишет о «воплях Иова», его «великой и последней борьбе с самоочевидностями»: «Для Киркегарда в этих воплях открывается новое измерение мышления, он чувствует в них действительную силу, от которой, как от иерихонских труб, должны валиться крепостные стены. Это основной мотив экзистенциальной философии. Киркегард не хуже других знает, что для философии умозрительной, как и для здравого смысла, философия экзистенциальная есть величайшая нелепость. Но это не останавливает, это вдохновляет его. В мышлении открывается как бы новое измерение. На весах Иова скорбь человеческая оказывается тяжелее, чем песок морской, и стоны погибающих опровергают очевидности»¹². Шестов, распутывая противоречия, обнажает тщательно и умышленно скрытые мысли Кьеркегора, выпрямляет «непрямые высказывания», еще сильнее заостряя конфликт между умозрением и открытием, верой и рациональным знанием¹³.

В отличие от Кьеркегора Шестов сравнительно редко прибегал к «непрямым высказываниям». Соответственно прост и чист язык Шестова, который был выдающимся стилистом и прирожденным литератором. «Шестов пишет не только увлекательно и ясно, но на читателя действует редкая у писателей *простота*, отсутствие всякой вычурности и погони за „стилем“. Изящество и сила слова как-то своеобразно сочетаются у

¹⁰ Там же. С. 240.

¹¹ «Киркегард один из самых сложных и трудных мыслителей. Труден он, главным образом, необычайной и совершенно непривычной для нашего мышления манерой ставить философские вопросы. Сложность его тоже своеобразна: главным образом смущает и запутывает читателя то, что он сам называет «непрямыми высказываниями»: самые дорогие свои мысли он в такой же мере показывает, как и скрывает, и от читателя требуется огромное напряжение всех его душевных сил и крайняя сосредоточенность внимания, чтобы разыскать под часто умышленно противоречивыми и запутанными утверждениями то, чем жил и за что всю жизнь свою боролся Киркегард» (Там же. С. 232).

¹² Там же. С. 245–246.

¹³ Любая философия религии, с максималистской точки зрения Шестова, есть лукавая попытка подчинить веру его величеству Разуму, рационализировать ее путем удаления всего чудесного, абсурдного. Уж лучше самый крайний атеизм, безверие, антихристианство, считал Шестов, чем религия, приспособленная к обыденной морали, здравому смыслу, расхожим представлениям «всемства»: «Там, где Откровение, ни наша истина, ни наш разум, ни наш свет ни на что не нужны. Когда разум обессиливает, когда истина умирает, когда свет гаснет — тогда только слова Откровения становятся доступны человеку. И, наоборот, пока у нас есть и свет, и разум, и истина — мы гоним от себя Откровение. Пророческое вдохновение, по самой природе своей теснейшим образом связанное с Откровением, только там и тогда начинается, когда все наши естественные способности искания кончаются»; «Истина Откровения ни по существу, ни по своим источникам нимало не похожа на разумную истину. Мы можем смеяться над пророками, презирать их, можем утверждать, что пророки „выдумали“ свое „Откровение“, наконец (это, правда, хуже всего, но сейчас это очень принято) почтительно любоваться чуждой нам фантастикой их пламенного воображения — все это допустимо. Но нельзя, на манер Филона, Соловьева или Толстого, вытравливать из Св. Писания его душу лишь затем, чтоб „примирить“ греческий разум с библейским Откровением. Все такого рода попытки неизбежно приводят к одному результату: к самодержавию разума» (Там же. С. 63–64, 46).

Шестова с строгостью и чистотой словесной формы, — отсюда неотразимое впечатление подлинности и правдивости»¹⁴. Тем сильнее, впрочем, обескураживает, ошеломляет каскад парадоксов, «антимаксим», которыми воистину перенасыщены его работы: «Кто хочет с успехом проповедовать, тот должен подменить свободу авторитетом...»; «Пока философия будет прислужницей математики и положительных наук, не найти ей настоящих весов: это — почти самоочевидная истина»; «Задача философии вырваться, хотя бы отчасти, при жизни от жизни»; «Хаос вовсе не есть ограниченная возможность, а есть нечто противоположное: т. е. возможность неограниченная»; «Чтоб увидеть истину, нужны не только зоркий глаз, находчивость, бдительность и т. п. — нужна способность к величайшему самоотречению»; «Только забыв „законы“, так прочно привязывающие нас к ограниченному бытию, мы можем подняться над человеческими истинами и человеческим добром»; «Истина лежит по ту сторону разума и мышления — это не разрыв с древней философией, как говорил Целлер, это вызов ей»¹⁵.

Нет оснований, однако, считать стиль Шестова столь уж «простым». Нередко это обманчивая простота. Своему ученику Б. Фондану он писал с явной симпатией о «косвенной» манере выражать мысли: «Бердяев тоже мне сказал: „Зачем говорить косвенно? Если хочешь что-нибудь сказать, говори открыто“. Но я не думаю, что Бердяев прав. Есть вещи, о которых можно говорить только косвенно. Это относится также к Нитше и Достоевскому. Надо не только „простить“ их манеру говорить, надо ее оценить и понять скрытый смысл их писаний»¹⁶. Умел, когда считал это необходимым, прибегать к «косвенной» манере и сам Шестов.

Шестова часто называли «антифилософом», «мистиком», что, казалось бы, не должно было его смущать; ведь он сам противопоставлял себя не без своеобразной гордости «так называемым философам» и подчеркивал: «Только потому, что я не изучал философию в университете, я сохранил свободу духа»¹⁷; «Я никогда в университете не изучал философии, никогда не посещал лекций по философии и не считал себя философом...»¹⁸. Но Шестова снисходительное и высокомерное отношение к его философской позиции больно задевало и огорчало, а похвалы литературному стилю отнюдь не радовали, о чем свидетельствуют невольно вырвавшиеся у него в разговоре с Фонданом слова: «Я так привык, что мне говорят о моем писательском таланте, о моем критическом „даре“, о справедливости или спорности моего толкования того или иного, что Ваше письмо меня удивило. Вы не заинтересовались ни моим стилем, ни моим психологическим чутьем, но самой сутью вопроса. Это удивительно...»¹⁹. И ему же он гово-

¹⁴ Зеньковский В. В. История русской философии. Париж, 1989. Т. 2. С. 319.

¹⁵ Шестов Л. На весах Иова. Париж, 1929. С. 91, 181, 199, 215, 219, 227, 366.

¹⁶ Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. С. 154–155.

¹⁷ Фондан Б. Разговоры с Львом Шестовым // Новый журнал. 1956. № 45. С. 199.

¹⁸ Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. С. 76–77.

¹⁹ Там же. С. 342.

рил: «Пишут, что я „мистик“, чтобы избавиться от меня, и даже прибавляют „великий“, дабы все образовалось. Ведь после этого говорить не о чем... Я очень не люблю, когда меня именуют мистиком, да еще „великим“. Это значит: вы поймете тут то, что сможете, и однако нет никакой необходимости что-либо тут понимать. Мистик — это все объясняет, ибо это ничего не значит... Под мистикой разумеется, что вопросы, поставленные в ней, находятся вне философии, и не стоит затруднять себя их разрешением...»²⁰

У многочисленных оппонентов Шестова были серьезные основания думать так о философе, открыто объявлявшем себя «ненавистником разума». Но не следует, однако, понимать позицию Шестова слишком прямолинейно, игнорируя интенции и пафос «великой» и «последней» борьбы философа. «Л. Шестов в сущности совсем не против научного познания, не против разума в обыденной жизни. Не в этом была его проблема. Он против претензий науки и разума решать вопрос о Боге, об освобождении человека от трагического ужаса человеческой судьбы, когда разум и разумное познание хотят ограничить возможности. Бог есть прежде всего неограниченные возможности, это основное определение Бога. Бог не связан никакими необходимыми истинами. Человеческая личность есть жертва необходимых истин, закона разума и морали, жертва универсального и общеобязательного <...> Если есть Бог, то раскрыты все возможности, то истины разума перестают быть неотвратимы и ужасы жизни победимы. Тут мы прикасаемся к самому главному в шестовской теме. С этим связана та глубокая потрясенность, которая характеризует всю мысль Шестова. Может ли Бог сделать так, чтобы бывшее стало небывшим? Это наиболее непонятно для разума. Очень легко было неверно понять Л. Шестова. Отравленный Сократ может быть воскрешен, в это верят христиане, Киркегарду может быть возвращена невеста, Нитше может быть излечен от ужасной болезни. Л. Шестов совсем не это хочет сказать. Бог может сделать так, что Сократ не был отравлен, Киркегард не лишился невесты, Нитше не заболел ужасной болезнью. Возможна абсолютная победа над той необходимостью, которую разумное познание налагает на прошлое. Л. Шестова мучила неотвратимость прошлого, мучил ужас однажды бывшего»²¹, — справедливо писал Бердяев, объясняя сокровенные ходы мысли своего друга и постоянного оппонента. Он же предупреждал от слишком поверхностного понимания произведений философа-экзистенциалиста: «Парадоксальность мысли, ирония, к которой постоянно прибегал Л. Шестов в своей манере писать, мешали понимать его. Иногда его понимали как раз наизуоборот»²².

Совершенно необходимое предупреждение. Дело в том, что произведения Шестова в равной степени принадлежат русской философии и русской литературе. Закономерно, что именно в шедеврах русских писателей

²⁰ Фондан Б. Разговоры с Львом Шестовым. С. 202–203.

²¹ Бердяев, Николай. Собр. соч. Т. 3. С. 409–410.

²² Там же. С. 410.

«золотого» XIX века Шестов обнаруживал истинную философию. Гениальное художественное творчество, по глубочайшему убеждению Шестова, таинственно и неисчерпаемо: откровение о мире и человеке. И он не просто черпал из произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого мысли, питающие его философию трагедии. Эта литература, по мнению Шестова, и есть самая доподлинная философия *de profundis*. В книге «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше» Шестов так писал о художественной философии в «Войне и мире»: «Сказать про гр. Толстого, что он не философ, значит отнять у философии одного из виднейших ее деятелей. Наоборот, философия должна считаться с гр. Толстым как с крупной величиной, хотя его произведения и не имеют формы трактатов и не примыкают к какой-нибудь из существующих школ <...> Правда, он не касается некоторых теоретических вопросов, которые мы привыкли встречать у профессиональных философов. Он не говорит о пространстве и времени, монизме и дуализме, о теории познания вообще. Но не этим определяется право называться философом. Все эти вопросы должны быть выделены в самостоятельные дисциплины, служащие лишь основанием для философии. Собственно же философия должна начинаться там, где возникают вопросы о месте и назначении человека в мире, о его правах и роли во вселенной и т. д., т. е. именно те вопросы, которым посвящена „Война и мир“. — „Война и мир“ — истинно философское произведение; в ней граф Толстой допрашивает природу за каждого человека, в ней преобладает еще гомеровская или шекспировская „наивность“, т. е. нежелание воздавать людям за добро и зло, сознание, что ответственность за человеческую жизнь нужно искать выше, вне нас»²³.

С годами отношение к русской литературе не изменилось. «Он был еврей по крови, но я не встречал среди русских такой любви к русской литературе и такого ее понимания...» — вспоминал Бердяев²⁴. Русская литература стала неотъемлемой и очень важной частью мировоззрения Шестова: «Русская философская мысль с почти небывалой до того смелостью поставила и по-своему разрешила целый ряд вопросов, о которых в Европе мало кто думал или хотел думать <...> русская философская мысль, такая глубокая и такая своеобразная, получила свое выражение именно в художественной литературе. Никто в России так свободно и властно не думал, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Достоевский, Толстой... и даже Чехов»²⁵.

Наследником свободной и смелой русской художественной философии XIX в. Шестов называл Бердяева: «один из самых человеческих философов, не только русских, но и европейских, законный духовный наследник той великой традиции, которую привил русской мысли величайший из русских людей, Пушкин»²⁶. И тем не менее, или именно поэтому

²³ Шестов, Лев. Избранные сочинения. М., 1993. С. 87–88.

²⁴ Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 2. С. 210.

²⁵ Шестов Л. Умозрение и Откровение. С. 35.

²⁶ Там же. С. 289–290.

(Шестова авторитеты не смущали: чем выше была репутация мыслителя, тем острее и непримиримее звучала его полемика), отдавая должное Бердяеву, считая его труды необыкновенно важным и значительным событием («В наше смутное и мрачное время предостерегающий и поучающий голос Бердяева, его благородная борьба с мракобесием, обскурантизмом, с попытками угашения духа имеет огромное значение; его слушают и ему любовно покоряются тысячи»²⁷), Шестов упрекает его в том, что философ в противоположность Достоевскому, Кьеркегору, Ницше «на вопросах не любит долго задерживаться и задерживать своих читателей», «всегда торопится к ответам, которые к нему как бы сами собой приходят», «не слышит вопроса Достоевского: зачем познавать это чертово добро и зло, если это так дорого стоит?», отделяясь от него «короткими, успокаивающими словами „гениальная диалектика“»²⁸.

Упреки Шестова Бердяеву лишь отчасти справедливы. Шестов вообще полемист виртуозный, но очень увлекающийся и горячий, заражающий своей страстностью читателя, даже несогласного с суждениями и оценками философа. К тому же у экзистенциальной философии своя «абсурдная» логика и специфическое эмоциональное видение. Фрагментарна и афористична исповедальная философская проза Шестова. Насыщенный метафоричный стиль философа хорошо охарактеризован Н. В. Мотрошиловой: «В работах Л. Шестова идет свободная, ломающая все границы времени переключка великих умов — и автора с великими умами. Все мыслители, о которых заходит речь, с кем-нибудь да страстно полемизируют. Толстой спорит с Пушкиным и Достоевским. Достоевский тоже повернут против Толстого. Волны мыслей-страстей Достоевского то интерферируют, то расходятся с бурными волнами ницшеанских идей. Живыми персонажами диалогов современного человечества становятся Сократ, Платон, Аристотель, Лютер, Кант, Гегель, Шеллинг»²⁹.

Шестова не устраивали никакие ответы. В них он видел — и, надо сказать, часто не без основания — хитрые комбинации ума, жертвоприноше-

²⁷ Там же. С. 293.

²⁸ Там же. С. 270, 295. Шестова и Бердяева связывали узы многолетней дружбы, а в доме Шестовых был настоящий культ Бердяева. Шестов с юмором рассказывал: «В глазах моей жены Бердяев был образцом: „Поступай, как Бердяев. Бердяев не сделал бы этого. Бердяев говорит, что вот это ты можешь есть и пить, а этого не должен“. Достаточно было бы мне уговориться с Бердяевым, чтобы он сказал, что кофе метафизично, и моя жена разрешила бы мне пить кофе» (Фондан Б. Разговоры с Львом Шестовым. С. 199). И неперенной, острой приправой к дружбе двух русских философов были нескончаемые споры — диалог, растянувшийся на несколько десятилетий, бурный и открытый в беседах, отточенный, дипломатичный в письмах и произведениях. С теплым чувством вспоминали об этих спорах как Шестов, так и Бердяев: «Мы всегда спорили, у нас были разные мирозерцания, но в шестовской проблематике было что-то близкое мне. Это было не только интересное умственное общение, но и общение экзистенциальное, искание смысла жизни. Общение было интенсивно и в Париже до самой его смерти» («Самопознание»); «Мы старые друзья с Л. Шестовым и вот уже 35 лет ведем с ним диалог о Боге, о добре и зле, о знании. Диалог этот бывал нередко жестоким, хотя и дружеским» («Лев Шестов — по случаю его семидесятилетия»).

²⁹ Вопросы философии. 1990. № 1. С. 133.

ния его величеству Разуму. И напротив, его восхищало великое искусство Толстого «ставить вопросы там, где для всех никаких вопросов не было <...> ставить вопросы там и тогда, когда все наше существо глубочайшим образом убеждено, что никаких вопросов уже ставить нельзя, ибо никаких ответов нет и никогда не будет»³⁰. Он был потрясен антигегельянским письмом Белинского к В. П. Боткину от 1 марта 1841 г., письмом-вызовом, письмом-восстанием: «Ты — я знаю — будешь надо мною смеяться, — писал критик, — но смейся, как хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здоровья китайского императора (то есть гегелевской *Allgemeinheit*). Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремясь к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы развития, — а споткнешься — падай — черт с тобою — таковский и был сукин сын. Благодарю покорно, Егор Федорыч, — кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас *отдать мне отчет* во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и проч.: иначе я с верхней ступени *бросаюсь вниз головою*. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови, — костей от костей моих и плоти от плоти моя. Говорят, что *дисгармония есть условие гармонии*, может быть, это очень выгодно и улаждительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своей участью идею дисгармонии <...> что мне в том, что я уверен в том, что разумность восторжествует, что *в будущем* будет хорошо, если судьба велела мне быть свидетелем торжества случайности, неразумия, животной силы? Что мне в том, что моим или твоим детям будет хорошо, если мне скверно и если не моя вина в том, что мне скверно? Не прикажешь ли уйти в себя? Нет, *лучше умереть*, лучше быть живым трупом!»³¹ Шестов с энтузиазмом цитирует, пересказывает, растолковывает эпистолярные неистовства Белинского, восхищаясь столь непочтительным отношением к Егору Федорычу Гегелю, бунтом против самоочевидностей, против всего того, что освящено наукой, моралью, философией, упорядочено и заключено в утешительные системы: «И вдруг на сцену является Белинский и требует отчета у вселенной за *каждую* жертву истории! За *каждую* — слышите? Он не хочет уступить за все мировые гармонии ни единого человека, обыкновенного, среднего, простого человека, которых, как известно, историки и философы считают миллионами, в качестве пушечного мяса прогресса. Это уже не гуманность и идеализм, а что-то иное»³².

Так пишет Л. Шестов в предисловии к книге «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше». Часто будет вспоминать и цитировать он

³⁰ Шестов Л. Умозрение и Откровение. С. 159.

³¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Л., 1956. Т. 12. С. 22–23.

³² Шестов, Лев. Избранные сочинения. С. 44–45.

письмо Белинского и позднее, в том числе и в работе 1937 г. «О «перерождении убеждений» у Достоевского». В частном письме критика, подчеркивал там Шестов, «in писе заключалось все, что впоследствии пришлось orbi et urbi провозгласить Достоевскому»³³. В письме Белинского, «которое несколько поколений русских людей затверживало наизусть», и прозе Достоевского Шестову был дорог вызов всей «западной философии», всему «западному миру», следующему дорогой Аристотеля и Гегеля: «Но там, где западная ученость видела последнее слово, конец разрешающий, успокаивающий ответ, там для Белинского, а за ним и для Достоевского, было начало — и не ответов, не успокоения, а вечной, страшной, неизбыточной тревоги»³⁴. И «жестокость» Достоевского (так узко и тенденциозно понятая Н. К. Михайловским), приходит к заключению Шестов, есть не альтернатива гуманности, а ее новое и высшее измерение, и «перерождение убеждений» не измена прежнему, не отказ от идеалов молодости, а органический внутренний процесс возмужания и кристаллизации мысли: «...все то новое, что открылось Достоевскому в зрелости и в старости, было как бы ответом на те вопросы, которые — для него самого еще незримые — таились в идеях его юности»³⁵.

Статья «О «перерождении убеждений» у Достоевского», возникшая на основе лекций, подготовленных им для Radio-Paris (отрывки из произведений писателя читал выдающийся актер Жак Капо) была опубликована в февральской книжке журнала «Русские записки» за 1937 г. Это последняя из работ Шестова о Достоевском, образующих своего рода цикл, в котором центральное место занимает знаменитая статья «Преодоление самоочевидностей (К столетию рождения Ф. М. Достоевского)», — именно в ней философ вдохновенно развернул концепцию творчества писателя, позднее почти не претерпевшую изменений.

Конечно, то было далеко не первое обращение Шестова к Достоевскому. Ему уделено много места в статье 1899 г. о Пушкине. Но в ранней статье нет еще и намека на философию трагедии и — тем более — религиозный экзистенциализм. Поразительно традиционная юбилейная статья, в которой выразилась горячая любовь Шестова к русской литературе, с удовлетворением отмечающего, что «теперь люди западной культуры с удивлением и недоумением идут к нам, своим вечным ученикам, и с жадной радостью прислушиваются к новым словам, раздающимся в русской литературе»³⁶. Правда, эти «новые слова», по мнению Шестова, не являются столь уж новыми, так как Толстой и Достоевский — «духовные дети Пушкина; их произведения — принадлежат им наполовину; другая половина — принята ими, как готовое наследство, созданное и сохраненное их великим

³³ Шестов, Лев. О «перерождении убеждений» у Достоевского // Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 243.

³⁴ Там же. С. 244.

³⁵ Там же. С. 241.

³⁶ Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 195.

отцом»³⁷. Шестов отталкивается здесь от мыслей Достоевского, высказанных им в пушкинской речи, которую и пересказывает, всецело соглашаясь, в частности, с апофеозом Татьяны, ее «нравственной победой» над Онегиным, ушедшим «от нее опозоренным и уничтоженным в своем бессмысленном отрицании»³⁸. Все это чрезвычайно далеко от будущих статей Шестова и больше напоминает добросовестно написанную курсовую работу по литературе, где все как будто справедливо и верно, но мало что останавливает внимание. Нет остроты, бунтарства, парадоксов Шестова. Нет и намека на борьбу со «всемством», «стенами», разумом. Нет и Парадоксалиста «Записок из подполья». Лишь слабое предвестие философии трагедии можно уловить в слишком общих и достаточно тривиальных словах критика, так пишущего о новом слове Достоевского: «В новой европейской литературе едва ли можно указать хоть еще одного писателя, который с таким исключительным, загадочным упорством искал разрешения мрачайших загадок жизни, с каким искал Достоевский. Вместе с героями своими, Раскольниковыми, Карамазовыми и иными, он спускался в такие глубокие пропасти жизненных ужасов, из которых, по-видимому, нет и не может быть выхода, и тем не менее — такие психологические опыты не убивали его, как не убили его те мучительные испытания, которые ему пришлось испытать в течение своей многострадальной жизни. Читатель, вслед за ним входивший в области вечной тьмы, руководимый им же, всегда снова выбирается на свет, вынося с собой глубокую веру в жизнь и добро»³⁹.

Вот, пожалуй, первое и еще очень робкое прикосновение Шестова к Достоевскому с редчайшими в его произведениях мажорно-оптимистическими интонациями. В книге «Достоевский и Ницше», о которой уже говорилось ранее, Шестов развернул свою концепцию философии трагедии. Книга, с преобладающими в ней пессимистическими мотивами, отразила «перерождение убеждений» Шестова, рождение философа-экзистенциалиста, восставшего против засилия материалистов, позитивистов и идеалистов. Соответственно изменился взгляд и на Достоевского и его «психологические опыты». Бесследно исчезла и декламация на тему глубокой веры в жизнь и добро. Шестову гораздо глубже открылась трагическая сторона творчества Достоевского. Постепенно, но уверенно он спускается по опасным и шатким ступенькам в Подполье, хотя пока и не решается объявить о своих открытиях прямо. Точнее, еще не найдены нужные слова, еще не прочитаны внимательно «Записки из подполья».

В другой дореволюционной статье о Достоевском «Пророческий дар» Шестов по преимуществу пишет о том, что ему было чуждо в творчестве Достоевского, — о его публицистике, политических идеях, пророчествах, Осанне. В «Дневнике писателя», по очень тенденциозному мнению Шестова,

³⁷ Там же.

³⁸ Там же. С. 200.

³⁹ Там же. С. 204–205.

Достоевский часто рассуждает «совсем, как передовик из благонамеренной провинциальной газеты»⁴⁰. Ему вообще мало симпатично позднее творчество Достоевского, ставшего «знаменитым», вступившего в «светлый период» (кавычки подчеркивают иронию) жизни: «Подполье, куда еще недавно и навсегда, как можно было думать, загнала его судьба, кажется старой фантасмагорией, никогда не бывшей действительностью. Там, в каторге и подполье, родилась и долго жила великая жажда Бога, там была великая борьба, борьба на жизнь и на смерть, там впервые производились те новые и страшные опыты, которые сроднили Достоевского со всем, что есть на земле мятущегося и беспокойного. То, что пишет Достоевский в последние годы своей жизни (не только «Дневник писателя», но и «Братья Карамазовы»), имеет ценность лишь постольку, поскольку там отражается *прошлое* Достоевского. Нового дальнейшего шага он уже не сделал. Как был, так и остался накануне великой истины»⁴¹. Эта немного здесь в полемическом ключе упрощенная схема в дальнейшем не претерпит существенных изменений. В статье «Пророческий дар» Шестов пишет о Достоевском, который уже «не хочет бороться», «боится уединения», «хочет быть пророком для людей, современных, оседлых людей, для которых христианство в его чистом виде, неприспособленном к условиям культурного, государственного существования, не годится»⁴². О «новых и страшных опытах» Достоевского, подпольном бунте, «великой борьбе» Шестов будет говорить подробно и с сильным эмоциональным нажимом в большой статье «Преодоление самоочевидностей», вне всякого сомнения, лучшей работе Шестова о Достоевском, публикация которой в августовской книжке журнала «Современные записки» за 1921 г. была приурочена к столетию со дня рождения писателя. Статье суждено было сыграть необыкновенно важную роль в жизни Шестова, к которому наконец-то пришла сначала европейская, а потом и всемирная известность. Часть литературного шедевра Шестова была блестяще переведена на французский язык Б. Шлецером и напечатана в 1922 г. в «Нувель Ревю Франсез» рядом со статьями Жака Ривьера и Андре Жида. Можно сказать, что статья имела оглушительный успех во Франции, вызвав восторги Дю Боса, Лёфевра и — что особенно важно — Жида. Шестова успех порадовал, хотя и принес огорчительные для философа-отшельника неизбежные хлопоты: «Статья о Достоевском здесь в Париже во французских литературных кругах имела очень большой успех. Уже без обиняков признают меня таким же remarquable, как и A. Gide'a (а Gide здесь крупная величина). Сам Gide дал мне статью Clarte (это журнал Барбюса), где меня сравнивают с ним. Уже и издательские предложения начались. Но это очень мучительная вещь. Приходится заводить relations, бывать повсюду, без конца разговаривать — все время на это agir уходит»⁴³.

⁴⁰ Шестов Л. Пророческий дар (К 25-летию смерти Ф.М. Достоевского) // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. М., 1990. С. 122.

⁴¹ Там же. С. 124.

⁴² Там же. С. 125.

⁴³ Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. С. 233.

Впрочем, Шестову сравнение со статьями Жида не показалось столь уж лестным. Статьи не произвели на него большого впечатления, и в диалог о Достоевском с французским литературным мэтром он не пожелал вступить, о чем свидетельствует (в передаче философа) их встреча: «Это один из самых умных людей, которых я знал. Он догадывается обо всем. Ничего нельзя от него скрыть. Вышла в свет его книга о Достоевском. Мы были тогда в Понтины. Он спросил, что я о ней думаю. Я ответил, что книга очень хорошо написана и еще что-то в этом духе. Он сразу все понял и перевел разговор на другое. Но с тех пор никогда не говорил со мной...»⁴⁴ Судя по другим разрозненным репликам, Шестов прочитал книгу Жида крайне невнимательно. Мнение литературных критиков и писателей о Достоевском Шестова мало волновало: «хорошо написано», да не о том, не о «главном», не о Подполье и борьбе с разумом. Шестов и о других очень знаменитых, блестящих и глубоких книгах и статьях мыслителей «серебряного века» о Достоевском (равно и о Толстом, Тургеневе, Чехове), если и отзывался, то между прочим и критически. Книгу своего друга Бердяева «Миросозерцание Достоевского» он, в сущности, проигнорировал. О диалогии Мережковского, произведшей такое сильное впечатление на Т. Манна, отзывался насмешливо, что вызвало гнев писателя-символиста и разрыв отношений. Не принял он и прекрасной статьи Вяч. Иванова, отозвавшись о ней тенденциозно и, пожалуй, высокомерно в «барочной»⁴⁵ статье «Вячеслав Великолепный»: упрекнул автора книги «Борозды и межи» в том, что тот истолковал Достоевского по Шиллеру. Заодно там же он недоброжелательно отозвался обо всей пошедшей за Достоевским «школе людей конца XIX и начала XX столетия»⁴⁶. Пожалуй, только суждения В. Розанова показались любопытными Шестову, частично совпав с его собственными. Но и здесь речь может идти лишь об отдельных ситуативных «подпольных» переключках. У Шестова свое партикулярное и особое мнение, точнее сказать, Откровение о Достоевском. И менять свой взгляд на Достоевского, эту парадоксально-подпольную концепцию-фантазию Шестов абсолютно не собирался, хотя бы (или, скорее, именно потому) она кардинальным образом отличалась от других точек зрения. Шестов все эти другие мнения до предела схематизирует и интегрирует в голос большинства, «всемства», противопоставляя им пронзительный подпольный визг: «Все убеждены ведь, что Достоевский написал только

⁴⁴ Там же. С. 263–264. Но интерес во Франции к русской литературе приятно удивил Шестова: «Поразило меня <...> отношение французов к русским и русской литературе. Все знают, во всем чудесно разбираются — и как все любят Я прислушивался к частным разговорам за столом или в отдельных группах и часто ушам своим не верил. Когда еще восхваляют Достоевского — куда ни шло. Может быть, это мода, да Достоевский уже давно известен. Но послушали бы, что и как говорят о Чехове. „Скучная история“ вышла всего два месяца тому назад, и все уже ее читали, превосходно, до мелких деталей все помнят и понимают лучше, чем патентованные русские критики» (Там же. С. 263).

⁴⁵ Герцык Е. Воспоминания. Париж: YMCA-PRESS, 1973. С. 110.

⁴⁶ Шестов Л. Сочинения. Т. 1. С. 247. Символичен подзаголовок статьи: «К характеристике русского упадничества».

те несколько десятков страниц, которые посвящены старцу Зосиме, Алеше Карамазову и т. д., и еще те статьи „Дневника писателя“, в коих он излагает своими словами теории славянофилов, а „Записки из подполья“, „Сон смешного человека“, „Кроткая“ и вообще девять десятых того, что напечатано в полном собрании сочинений Достоевского, написано не им, а каким-то „господином с ретроградной физиономией“ и только затем, чтоб Достоевский мог бы должным образом посрамить его. Так глубоко живет в нас вера в раге (мы это называем «естественностью» всего происходящего), и так боимся мы всего, что даже отдаленно напоминает *jubere* (чудесного и сверхъестественного)»⁴⁷.

«Концепция» Шестова опирается не на «логические» и «научные» доказательства, а возникает в некоем мистико-фантастическом, легендарном пространстве. Душой и поэзией главной работы Шестова о Достоевском стала восточная легенда об Ангеле смерти, очень понравившаяся современникам (Бунин переадресовал ее Толстому — Шестов не возражал. Толстого он боготворил нисколько не менее Достоевского), блестяще переосмысленная и развернутая философом: «Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убеждается, что он пришел слишком рано, что не наступил еще человеку срок покинуть землю. Он не трогает его души, даже не показывается ей, но прежде, чем удалиться, незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных своих глаз. И тогда человек внезапно начинает видеть сверх того, что видят все и что он сам видит своими старыми глазами, что-то совсем новое. И видит новое по-новому, как видят не люди, а существа „иных миров“, так, что оно не „необходимо“, а „свободно“ есть, то есть одновременно есть и его тут же нет, что оно является, когда исчезает, и исчезает, когда является. Прежние природные „как у всех“ глаза свидетельствуют об этом „новом“ прямо противоположное тому, что видят глаза, оставленные ангелом»⁴⁸.

Рефреном через всю статью проходит мотив двойного зрения, неразрывно связанный с другим — мотивом двойственности личности и творчества Достоевского, в чем Шестов не видит чего-то ущербного и негативного: Достоевский двойствен, «как и все почти будители человечества»⁴⁹. Двойное зрение и попытки избавиться от новых глаз, вернуться к «нормальному» положению, считает Шестов, дают ключ к объяснению эволюции Достоевского: «он временами тяготится своим вторым зрением и той вечной душевной тревогой, которая создается привносимыми им противоречиями, и часто отворачивается от „сверхъестественных“ постижений только бы вернуть столь необходимую смертным „гармонию“»⁵⁰.

Шестов подчеркивает сверхъестественный характер происшедшего с Достоевским (и в подтексте статьи чувствуется, что нечто подобное слу-

⁴⁷ Шестов Л. Сочинения. Т. 1. С. 632.

⁴⁸ Властитель дум. Ф. М. Достоевский в русской критике конца XIX — начала XX века / Сост. Н. Т. Ашимбаева. СПб., 1997. С. 463.

⁴⁹ Там же. С. 508.

⁵⁰ Там же. С. 504.

чилось и с ним — как и с Паскалем, Ницше, Кьеркегором и другими «избранными» Ангелом смерти; Б. Шлецер писал в предисловии ко второму изданию на французском языке книги «Достоевский и Ницше»: «С большой вероятностью можно сказать, что Шестов был один из немногих, к которым явился ангел смерти»⁵¹) — второе зрение «пришло к Достоевскому непрошенным, с такою же неожиданностью и так же самовольно, как и первое»⁵². И великая борьба Достоевского со «всемством», с «самоочевидностями», со «стенами» неизбежно вылилась в бесконечную внутреннюю драму и душевный разлад: «Сам Достоевский не „знал“ с „достоверностью“, свалил ли он своего врага или был им низвержен. Не знал до самых последних дней своей жизни. Вырвавшись из всемства, он попал в бесконечно запутанный лабиринт, в непроходимые дебри и потерял способность судить и не знал притом, было ли то, собственно, потерей или приобретением»⁵³.

Ярчайшее свидетельство «перерождения убеждений» Достоевского Шестов обнаруживал в «Записках из подполья», всегда остававшихся для него главным и наиболее значительным произведением писателя. Шестов осмыслил содержание повести сквозь призму своего духовного опыта, своего «перерождения убеждений», виртуозно и страстно переведя мысли и чувства Парадоксалиста на язык религиозно-экзистенциального бунта против самоочевидностей. В иронические кавычки заключается все почитаемое «всемством»: «доказательства», «аргументы», «законы», «логика», «мышление», «искания» и т. п. Это «нормальный» язык «всемства», голос Разума и Науки. А «у подпольного человека не свой голос, как и глаза у него не свои»⁵⁴. Подпольный человек отвергает принципы и законы и делает это самым возмутительным образом: «Как полагается подпольному человеку, он „доказательств“ не приводит: знает, что если до доказательств дойдет, то разум восторжествует. Его аргументация — неслышанная: язык выставит, кукиш покажет. Вы опять негодуете: как можно такие приемы называть „аргументацией“ и требовать от науки, чтоб она с этой аргументацией считалась. Но подпольный человек вовсе и не добивается, чтоб с ним „считались“, — и, быть может, это в нем самая замечательная черта»; «То, что происходит в душе подпольного человека, менее всего похоже на „мышление“ и даже на „искания“. Он не „думает“, он отчаянно мечется, стучится куда попало, бьется обо все встречающиеся ему по пути стены. Его постоянно взрывает, возносит Бог знает как высоко и потом швыряет тоже в Бог знает какие пропасти и глубины. Он уже не направляет себя, им владеет сила бесконечно более могучая, чем он сам»⁵⁵. Изумительный по глубине проникновения в художественную структуру повести анализ, отчасти стилизованный под дразнящую манеру монолога

⁵¹ Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 2. С. 38.

⁵² Властитель дум. С. 467.

⁵³ Там же. С. 497.

⁵⁴ Там же. С. 480.

⁵⁵ Там же. С. 498, 499.

Парадоксалиста, смотрящего на мир «новыми глазами» Парадоксалиста-Достоевского, не только стирающего грань между героем и автором, но и между своим бунтом и бунтом Достоевского.

Шестова не только не беспокоило, но и вдохновляло то обстоятельство, что «гениальная диалектика» Парадоксалиста — это «непрямые высказывания». Он, конечно, понимал, что Парадоксалист — герой повести и не может быть отождествлен с писателем в узколичном плане. Шестова мало занимают собственно литературные обстоятельства, способные лишь затенить, замаскировать, скрыть душевную мысль автора. Утрируя, Шестов писал в книге «Достоевский и Ницше»: «...у Достоевского мысль подпольного человека прячется под формой обличительной повести: „смотрите, дескать, какие бывают дурные и себялюбивые люди, как овладевает иногда эгоизм бедным двуногим животным“»⁵⁶. Литературной уловкой, жертвоприношением обыденной морали представляется Шестову авторское примечание к повести и эпилог «Преступления и наказания». «Достоевский и в „Преступлении и наказании“, и в других своих сочинениях делает величайшие усилия, чтобы „онормалить“, если разрешено такое слово, своих подпольных людей, т. е. себя самого, конечно. Но чем больше он старается, тем меньше выходит», — был твердо убежден Шестов⁵⁷. В романе «Идиот» для Шестова самое ценное — исповедь Ипполита, одна из самых потрясающих исповедей, разумеется, после исповеди Иова, «написанных людьми»⁵⁸. Главным героем «Бесов», в его глазах, является «великий и загадочный молчальник и столпник Кириллов», с которым так «умышленно» и безжалостно расправился Достоевский (самоубийство, считает Шестов, тут эквивалентно авторскому примечанию к «Запискам из подполья») ⁵⁹. В «Дневнике писателя» преобладает «голос всемства», но и там есть произведения, развивающие и углубляющие подпольную тему («Кроткая», «Сон смешного человека», «Бобок») — «все вещи необыкновенной силы и глубины, в которых он тоже не своим голосом выкрикивает о виденном не своими глазами»⁶⁰. И т. д., и т. п.

Шестов, отбрасывая литературные каноны и правила, которым, с его точки зрения, немалую дань отдал Достоевский, стремится протиснуться к тем потаенным, странным, чудовищным откровениям, которых невольно страшился и сам ясновидец, пораженный тем, что ему удалось увидеть «вторыми глазами»: «Сам Достоевский до конца своей жизни не знал достоверно, точно ли он видел то, о чем рассказал в „Записках из подполья“, или он бредил наяву, выдавая галлюцинации и призраки за действительность. Оттого так своеобразна и манера изложения „подпольного“ человека, оттого у него каждая последующая фраза опровергает и смеется над предыдущей. Оттого эта странная череда и даже смесь внезапных, ничем

⁵⁶ Шестов, Лев. Избранные сочинения. С. 277.

⁵⁷ Властитель дум. С. 505.

⁵⁸ Там же. С. 511.

⁵⁹ Там же. С. 516.

⁶⁰ Там же. С. 510.

не объяснимых восторгов и упоений с безмерными, тоже ничем не объяснимыми отчаяниями. Он точно сорвался со стремнины и, стремглав, с головокружительной быстротой, несется в бездонную пропасть. Никогда не испытанное, радостное чувство полета и страх пред беспочвенностью, пред всепоглощающей бездной»⁶¹.

Шестов полагал, что в художественном творчестве («непрямые высказывания») более всего возможны как предельная искренность, так и — соответственно — настоящие прозрения-откровения. Дневникам, воспоминаниям он явно не доверял, разделяя на этот счет мнение Парадоксалиста, опирающегося на высказывание очень авторитетного для философа Генриха Гейне: «Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве только себе самому, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно — таки накопится. То есть даже так: чем более он порядочный человек, тем более у него их и есть... Замечу кстати: Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам об себе наверно налжет. По его мнению, Руссо, например, непременно налгал на себя в исповеди, и даже умышленно налгал, из тщеславия. Я уверен, что Гейне прав; я очень хорошо понимаю, как иногда можно единственно из одного тщеславия наклепать на себя целые преступления, и даже очень хорошо постигаю, какого рода может быть это тщеславие» (5; 122)⁶². Уверен был и Шестов в правоте Гейне и героя повести Достоевского. По сути, вариациями этих суждений Парадоксалиста являются мысли Шестова, высказанные в статье «На страшном суде (*Последние произведения Л. Н. Толстого*)»: «Толстой где-то говорит, что лучший вид литературы — это автобиография. Думаю, что это неверно и не может быть верно в условиях человеческого существования <...> Написать правдиво историю своей жизни или искреннюю исповедь, т. е. рассказать о себе не то, чего ждет и что нужно обществу, а то, что действительно с тобой было, значит добровольно выставить себя — при жизни или после смерти, это почти все равно — к позорному столбу <...> Ни одному человеку до сих пор не удавалось рассказать о себе в прямой форме правду, даже часть правды — и это равно относится и к „Исповеди“ Бл. Августина и к „Confessions“ Руссо, и к автобиографии Милля, и к дневникам Нитше. Свое собственное, главное, интимное не попало ни в одно из этих произведений. Самую ценную и трудную правду о себе люди рассказывают только тогда, когда они о себе не говорят. Если бы Достоевский написал

⁶¹ Там же. С. 469.

⁶² Близкие по смыслу суждения звучат в «Дневнике „Фальшивомонетчиков“» А. Жида (возможно, это отзвук повести Достоевского): «интимное проникновение и психологическое исследование могут быть углублены в „романе“ больше, чем в „исповеди“. В последней автора иногда стесняет „я“; есть некоторые сложные переживания, которые невозможно распутать и показать без известного рода снисходительности к себе» (*Жид А. Собр. соч. Л., 1936. Т. 3. С. 358*).

свою автобиографию, — она бы ничем не отличалась от страховской биографии: щегольнул бы лицевой стороной жизни и только <...> И Гоголь не в „авторской исповеди“ — а в „Мертвых душах“. То же можно обо всех писателях сказать»⁶³. Вот, кстати, одна из главнейших причин, объясняющих, почему истину Шестов обнаруживал не в философских трактатах, дневниках, воспоминаниях, автобиографиях, а в художественных шедеврах. Он прямо декларировал: «Кто хочет „правды“ — тот должен научиться искусству читать художественные произведения»⁶⁴. Этому искусству сам Шестов неумоимо учился всю жизнь.

В статье «Преодоление самоочевидностей» (и во многих других) Шестов часто (даже назойливо) подчеркивает, что Достоевский до чрезвычайности «несведущ» в истории философии, не имел никакого представления о Канте, Паскале, Гегеле, античных философах и — само собой — о Кьеркегоре. Шестов сильно преувеличивает «невежество» Достоевского (который, впрочем, сам признавался, что «шваховат» в знании философии, но силен в любви к ней), не зная некоторых фактов или не считаясь с ними. Позиция Шестова сознательно утрированная и умышленная. Он с упоением цитирует Бл. Августина: «Встают невежды и восхищают небо»⁶⁵. Ему важно было показать «случайность» и одновременно «неизбежность» совпадений между Паскалем, Ницше, Кьеркегором и Достоевским — этими «уединенными» мыслителями, которым Ангел смерти придал «новые глаза». Здесь и речи не может быть о преемственности, влиянии, воздействии — страшные мистико-религиозные «опыты» невольно соприкасаются в некоем сакрально-библейском пространстве.

В повести Достоевского и других, от нее идущих «подпольных» произведениях Шестов ценил не «ответы», видя в них уступку «всемству», а вопросы, как раз и содержащие «великое философское откровение». Естественно, что в борьбе с всесиливием Разума он видел в подпольном герое Достоевского надежного и могучего союзника. Отсюда и исключительно высокие оценки повести, резко полемически заостренные, взрывающие традиционную систему ценностей: «если была когда-либо написана „Критика Чистого Разума“, то ее нужно искать у Достоевского — в „Записках из подполья“ и в его больших романах, целиком из этих записок вышедших. То, что нам дал Кант под этим заглавием, есть не критика, а апология чистого разума»; «Диалектика Достоевского, как в „Записках из подполья“, так и в других его произведениях может быть свободно поставлена наряду с диалектикой какого угодно из признанных европейских философов, а по смелости мысли — я этого не боюсь сказать — едва ли многие из избранников человечества сравнятся с ним»⁶⁶.

Что же касается «положительно прекрасных» героев Достоевского, Шестов о них отзывался пренебрежительно, мимоходом отмечая их блед-

⁶³ Шестов Л. На весах Иова. С. 105.

⁶⁴ Там же.

⁶⁵ Властитель дум. С. 484.

⁶⁶ Там же. С. 479, 484.

ность и лубочность: «Настоящий святой — это вечно мятущийся человек из подполья <...> старец Зосима — только обыкновенный лубок: голубые глаза, тщательно расчесанная борода и золотое колечко вокруг головы»⁶⁷. Суждения о «святости» Парадоксалиста ни в коей мере нельзя назвать глумлением или кошунством. В бунте героя Шестову мерещилась истина и «непосильная для человека задача добиться отчета о судьбе всех жертв истории, случайностей и т. д.» Он писал в своей последней статье о Достоевском: «Чтоб обрести эту истину, Достоевский прошел сам и провел нас всех через те ужасы, которые изображены в его сочинениях, показал нам земной ад, как некогда Данте показал ад потусторонний. Из глубин ужасов и последних падений он научился взывать к Господу». А «вдохновляла на борьбу со „всемством“ Достоевского та же идея, которая была дороже всего Паскалю, которую он записал на обрывке бумаги, найденной зашитой в подкладке его платья: „Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob — Non des philosophes et des savants“»⁶⁸. И этого Бога «доказывать, искать Его в „истории“ нельзя. Бог — воплощенный „каприз“, отвергающий все гарантии»⁶⁹.

Николай Бердяев, рассказывал философ, «всегда упрекал» его в «шестовизации» авторов <...> утверждал, что ни Достоевский, ни Толстой, ни Киркегард никогда не говорили того, что я заставляю их говорить. И каждый раз я ему отвечал, что он приписывает мне слишком большую честь, и если я действительно изобрел то, что утверждаю, то я должен раздуться

⁶⁷ Шестов Л. Умозрение и Откровение. С. 66. Шестов был поразительно постоянен в своих симпатиях и антипатиях. Незадолго до смерти он говорил своему ученику: «Думаю о „Братьях Карамазовых“ <...> Странно! Достоевский так хорошо нарисовавший Ипполита, Инквизитора и других, когда подходит к старцу Зосиме, утрачивает свой дар изобразительности. Ему нечего сказать. Он извещает, что эта книга только первый том, где он пока описывает плохо, но во втором он все поставит на место. Во время создания „Карамазовых“ он уже был знаком с Соловьевым, часто бывал у наследника, будущего Александра III, у прокурора Святейшего Синода Победоносцева. Последний, прочитав „Карамазовых“ сказал, что невозможно вылечить вторым томом болезнь, которую Достоевский открыл в первом томе. Он был прав» (Фондан Б. Разговоры с Львом Шестовым. С. 206). Необходимо, однако, сказать и об одном очень существенном «исключении», которое Шестов делал в своих (в основном константных и иронических) суждениях о Мышкине, Зосиме, Алеше Карамазове и других «казовых» героях Достоевского (на языке философа это герои «нормальные», уступка писателя «всемству», «мнимые ответы» на гениальные, дикие, возмутительные «вопросы»). В статье «Преодоление самоочевидностей» Шестов приводит знаменитое место из главы «Кана Галилейская» седьмой книги «Братьев Карамазовых» (мистический восторг и иступление Алеши), замечая, что Достоевский здесь «доверил» своему любимому герою «одно из тех своих видений, которые открывались ему в минуты высшего подъема» (Властитель дум. С. 527). Видением Алеши Карамазова завершится и последняя статья философа о Достоевском, где о религиозном экстазе героя будет сказано: «кажется, что слышишь не слова Достоевского, а один из несравненных псалмов царя Давида» (Русские эмигранты о Достоевском. С. 257).

⁶⁸ Русские эмигранты о Достоевском. С. 253 (Здесь с неверным переводом в подстрочном примечании слов Паскаля; должно быть: «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а не философов и ученых» (франц.))

⁶⁹ Властитель дум. С. 537.

от тщеславия»⁷⁰. Бердяев во многом прав: с точки зрения, в частности, академического литературоведения суждения Шестова о Достоевском произвольны и грешат многочисленными фактическими неточностями. Но Шестова менее всего волновало мнение присяжных философов и литературоведов. Он вел разговор о Достоевском один на один в своем уединенном уголке, не оглядываясь на другие мнения и не прислушиваясь к другим голосам. Но потому-то, возможно, его Откровение о Достоевском произвело столь сильное впечатление на современников, а его статьи, давно уже став «классикой», и сегодня воспринимаются не только как противовес всевозможным попыткам «канонизировать» писателя в догматическом духе, но и как одно из самых вдохновенных слов о Достоевском, религиозно-мистическое постижение тайного смысла его творений, отзвук которого явственно проступает во многих книгах и статьях философа. Достоевский всегда был незаменимым мыслителем, «великим будителем», укреплявшим истступленно-абсурдную веру Шестова: «Главное научиться думать, что если бы люди <...> были убеждены, что Бога нет, — это равно ничего не значит. И, если бы можно было доказать как дважды два четыре, что Бога нет, — это тоже ничего не значило бы. Скажут, что такого нельзя требовать от человека. Конечно, нельзя! Но Бог всегда требует от нас невозможного» («Афины и Иерусалим»). Столь же бесспорно, что и горькая историко-философская миниатюра Шестова («Смысл истории») восходит к парадоксальному взгляду подпольного человека Достоевского на однообразную и неблагоприятную историю человечества: «Ищут смысл истории и находят смысл истории. Но почему такое история должна иметь смысл? Об этом не спрашивают. А ведь если бы кто спросил, может, он сперва бы усомнился в том, что история должна иметь смысл, а потом убедился бы, что вовсе истории и не полагается иметь смысл, что история сама по себе, а смысл сам по себе. От копеечной свечи Москва сгорела, а Распутин и Ленин — тоже копеечные свечи — сожгли Россию»⁷¹.

⁷⁰ Фондан Б. Разговоры с Львом Шестовым. С. 199.

⁷¹ Шестов Л. Сочинения. Т. 1. С. 623.